

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СЛОВЕСНОСТЬ

НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

А Л Е К С А Н Д Р И Л И Ч Е В С К И Й
И З С У Д О В О Г О
Ж У Р Н А Л А



Александр Иличевский
Из судебного журнала

«НЛО»

2023

УДК 821.161.1.09
ББК 83.3(2Рос=Рус)6

Иличевский А. В.

Из судового журнала / А. В. Иличевский — «НЛО», 2023

ISBN 978-5-4448-2129-9

«На той фотографии я один, не считая моего дяди с той стороны объектива. Это тысяча девятьсот восьмидесятый год, войны все так же шли – на хоккейных полях, шли в космосе, шли в классных комнатах, начиная нас временем-местом. Сколько прошло с тех пор! Наступило море, залив, мой пляж, мои скалы, на которых я вырос. Я и солнце». В прозаических и поэтических текстах, собранных в этой книге, Александру Иличевскому удается то, к чему так давно стремится физика – соединить бесконечно большое и бесконечно малое. На фото пленку, состоящую из воспоминаний о детских впечатлениях, влюбленностях и прочих счастливых минутах, наслаивается сначала боль коллективного прошлого, а затем – вечность, явленная в природе и библейских образах. И тогда в пространстве одной отдельно взятой книги ход истории вдруг обнаруживает внутреннюю логику и рифмы, а осколки разрушенного мира склеиваются в цельную мозаику. Александр Иличевский – поэт, прозаик и эссеист, лауреат премий «Русский Букер» и «Большая книга».

УДК 821.161.1.09
ББК 83.3(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-4448-2129-9

© Иличевский А. В., 2023
© НЛО, 2023

Содержание

Шесть дней	5
Новогоднее окно	6
Стрелы	7
Список счастья	8
Разговор	10
В дороге	11
Геодезия	12
Запись	13
Моав	14
Лампочка	15
Wegewolp	16
Бездомность и трепет	17
Книжная роза	18
Открытка	19
Человек-облако	20
Аисты	21
Разговор с Чико	22
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Александр Иличевский

Из судебного журнала

Шесть дней

Как же так, неужели просто войти в эту гордую лодку и отплыть чуть-чуть, чтобы было видно и слышно. В Венеции я ценю то, что никто никогда не видел. Я верю, что он мой – этот невидимый летучий город. Его никогда не забудешь, как никогда в своей жизни не покинуть то, что досталось из тьмы ослепительного детства.

Где-то спрятались в мирах мои первые шесть дней. Мать выбирала и хранила их для меня, покуда я скрывался в ее планете, где небеса еще не были отделены, где свет и тьма смешивались, покуда она грелась на осеннем солнце в сквере у моря. Это был мой вселенский монастырь, построенный в надежном сакруме – по ту сторону Бога.

Любая жизнь – предел совершенства. По крайней мере, совершенства молекул. Этому мы платим дань, провозглашая бессмертие заботы.

Возможно, я собирался родиться в другой галактике, но в какой-то момент передумал. Где же мои шесть дней? Это все похоже на сон, которому еще предстоит сбыться. Есть такие события, которые невозможно ни описать, ни сочинить, ни задумать. Не всякое будущее формулируется от противного: «Не произойдет ни то, ни это». Будущее иногда похоже знаете на что?

Недавно поздним вечером в потемках я шел по Южному Яффо. Светились окна. У порогов лачуг сидели старики и старухи, вздыхали, зевали. Двери тоже зевком приоткрывали содержимое убогих жилищ: вентилятор, телевизор, фотографии на тумбочке. Но иногда калитка была приоткрыта в темный дворик. Такое искушение в него зайти!

Так и будущее порой складывается из того, чьи шаги ты отвергаешь. Тело будущего и тело матери – карты разных миров. Они – миф, который рассказывает нас. Я слышал его в Константинополе, Риме и Вавилоне. Иногда твое лицо проплывало сквозь облака. Сквозь твои ладони протекал Босфор, проходили легионы, армии, эпохи.

И проплывала та гордая лодка, на которой я устремлялся рассматривать свой невидимый город, где затерялись шесть дней моего рождения.

Новогоднее окно

Ночью спать, спать, но что бросает вдруг обратно? Третьи петухи? Стараюсь не шуметь, иду к окну. Когда-нибудь вы пережидали ливень в речной ночи по горло? Холмы под луной, кроны сосен – воплощение одиночества. Тьму изо всех сил стараемся не замечать.

Крыши и шпили Санкт-Петербурга рушатся на меня. Со всеми их ангелами, чьи предки вокруг. Сидишь в ночной реке по горло и держишь на плечах ливень шпилей, плоскостей, проспектов, дворов, парадных. Все, что когда-то было в твоей жизни. Теперь память звучит тихонько музыкой по радио-тишине, и нет причины ее выключать.

Вот только иногда грохочет что-то в снах, прошитых тоннелями метро, в которых проносятся пустые поезда. Их вагоны когда-то в юности были полны. Снова петухи. Весь Иерусалим ночью словно призрак. Фонари вдоль парковых дорожек упрямо освещают путь ночным бабочкам.

Из ущелий доносится запах камней и трав. Нет сторожей – всех заменила луна, которая от одиночества разговаривает сама с собой. Я вижу свою постель и красоту жены. Она словно зеркало для луны, и луна примолкает. Но все равно ливень из шпилей и кровель продолжает обрушиваться на меня.

И тогда я вижу мальчика лет семи, потерявшегося на обратном пути из школы. Сначала гаражи, склады, узкоколейка, и вдруг гигантский джинн перенес его через полвека и бросил здесь одного. Где-то под кровлей вздыхают голуби, склевавшие бесконечность.

Ночь, ночь, ночь. Ночью царит тайна. Кто знает, что пропел тогда третий петух? Что-то важное происходит в это время. Днем внутри вновь воцаряется пустыня. Чего в ней только нет!

Бродят старики со старухами, ищут пустые клетки, где спрятаться. Скрипачи собираются вместе и выходят рыдать на дорогу. Проносится грузовик с надписью на борту: «Развезу ваши долги».

О благословенная новогодняя ночь! Ведь только сейчас я могу сидеть под ливнем из шпилей и кровель, вспоминая всех золоченых ангелов и херувимов, когда-то наполнявших поезда моих снов.

Стрелы

Где-то, в какой-то ведомости, я числюсь изобретателем прозрачных камней.

Я родился в Сумгаите в 1970 году. Жил в Воскресенске, Москве, Долгопрудном, Реховоте, снова в Москве, в Сан-Франциско, Сакраменто, Тускалусе, Тарусе, Тель-Авиве, Иерусалиме – и вот теперь в Бар Гиоре. Все это крохотные городки и селенья, столицы безвестности и провинций. Это при том, что, начиная работу, я всегда принимаюсь за Вселенную. Однако даже теперь никакая машина времени не сделает мое прошлое соблазнительным, хотя иногда я был счастлив. И все же заставить меня прожить такое еще раз – нет уж, увольте.

Однажды я ехал из Сакраменто в Сан-Хосе на поезде. И где-то по пути на страшной скорости локомотив сшиб на переезде тележку, полную барахла бездомного, который успел отскочить. Поезд затормозил, и это мне рассказал кондуктор. Я слышал проволочный звук удара, будто кто-то провел по ненатянутым струнам.

Вот так же судьба поступает с тележкой, груженной и моими намерениями.

Та железная дорога была когда-то путем битников, заскакивавших в вагоны грузового поезда без спросу. Когда-то и я путешествовал в осенний Крым в теплушке с четырьмя лошадьми, спал на сене, просыпался в пристанционном тумане. Все самое важное в моей жизни всегда происходило помимо моей воли.

Однажды девушка, с которой у меня в юности был роман, сказала: «Знаешь, ты похож на святого Себастьяна из Дрезденской галереи». В самом деле, сходство имелось, и мы ему удивились. Но теперь я понимаю главное: главное – стрелы. Стрелы намерений и столб судьбы – вот чем мы держимся. В каком-то смысле так и устроен мир – не на китах он стоит, и не на Ньютоне и Эйнштейне. А держится на стрелах.

Однажды отец рассказал мне, что, когда работал на заводе Pasco, он, чтобы посылать мне немного денег, старался сэкономить на мотеле и потому ночевал в машине, запарковав ее на площади перед заводом. Но на третий день приехали полицейские и спросили его: «Против чего бастуешь?» Отец отправился в гостиницу. Он не сказал им, что его сын писатель; что обратно до дома два часа езды вдоль берега реки Сакраменто, и, поскольку в некоторых местах на этой дороге нет отбойников, он возит с собой молоток под пассажирским ковриком, чтобы выбить стекло машины, если заснет и свалится в реку.

Иногда я вспоминаю этот случай. Мы дети своих родителей и яблонь. Вот почему я тоже вожу монтировку под ковриком с пассажирской стороны. У меня тоже есть своя река, в которую я опасаюсь свалиться во сне.

Список счастья

Я мог бы написать роман под названием «Иудейские горы» о человеке, работающем в бункере в Иудейских горах, он часто выходит после работы на закате.

Я мог бы написать роман под названием «Глухов» о невезучем писателе и его никчемной эпохе.

Я не пишу травелог «Точки рассвета Тель-Авива и Яффо».

Я не пишу сиквел «Чудаки Иерусалима», их и так здесь все знают.

Я не пишу путеводитель по значным местам Красной Пресни, я его уже написал.

Я не пишу воспоминания, кто-то присвоил мою память.

Я не пишу воспоминания, я все еще верю в то, что конец совпадает с началом.

Я не пишу воспоминания о поэзии или любви, ибо я не верю, что это было со мною.

Я не пишу воспоминания о нищете, в которой в разное время провел несколько лет.

Я не пишу о том, как был бездомным.

Я не пишу воспоминания, потому что мемуары – чтение для владельцев недвижимости, для тех, кто на яхтах из Ялты пересекает море и завтракает в Стамбуле.

Когда я не пишу, я не пишу также и стихи, никаких стихотворений в прозе, никаких поэм, никаких обрывков души или прикосновений, никаких следов на песке, – каково было бы встретиться со следами своего двойника?

Никаких самолетов в небе, никаких созвучий для аэропортов, объявляющих начало посадки, никаких нот для того, чтобы позвать стюардессу, никаких глуховатых тягучих звуков, похожих на рев турбин при наборе высоты. Никакого рождественского мурлыкания Синатры в баре в Хитроу, когда заказываешь второй «Гиннес».

Я не пишу «Покидая пристань Тарусы», не пишу о тех благословенных годах, когда прикармливал язей на горох, когда посвящал себя лугам и лесу, пропадая в них по целым дням, встречаясь только с кабанами и лосями. Столько молчания природы я встретил, руины покинутых век назад деревень. А чего стоила одна только Дряща, приток Оки, пробивший устье в косогорах, на вершинах которых кружится голова, поскольку кажется, что земля закругляется прямо под подошвой, сколь интересно было спуститься на известковое ее ложе, в дебри замшелых склонов, с отпечатками папоротника и хвоща на плоских, вылизанных половодьем камнях, стучащих порой под шагами, подобно кастаньетам.

Я не пишу «Праздник Каталонии» – повесть о том, как однажды путешествовал по побережью Средиземного моря, перемещаясь из одного рыбацкого городка в другой, располагаясь с ночевкой на катамаране, утром рассекающем волны из Реуса в Камбрил.

Я не пишу о том, как сходил с ума в Барселоне, как наворачивал круги по городу, как видел, что Провидение способно растереть в пальцах тебя, твой разум, твой мир, растереть, как прах.

И конечно, не пишу повесть «Надя», хотя хотелось бы написать «Три Елены».

Я не пишу «Сионизм и пророки» Денниса Дугласа и не пишу пьесу под названием «Непривитые».

Мне не в чем исповедоваться, а даже если и есть в чем, то зачем сотрясать воздух.

Мне не в чем виниться, кроме как в недостаточном усердии, с каким я мог бы чаще вглядываться в закат, каждый вечер провожать день в пасть дракона, полного звезд и камней, под названием Иудейская пустыня.

Нет, я не пишу свою исповедь, более удивленную, чем у Августина.

Я не пишу свою исповедь, более отчаянную, чем у Мелвилла.

Я думаю, лирическая поэзия, эпическая поэзия – они сходятся устами.

Эти уста пьют вино и воду, рождают потоки ветра, слагают бури и ураганы, а также шепот, самый важный шепот, от которого рождаются города и цивилизации.

Я не пишу книгу о том, как выжить на Ближнем Востоке.

Я не пишу отчеты о снах, это было бы чудовищно скучно.

Я не пишу исторические романы, потому что они ловушки.

Я не пишу эссе, никаких интервью, никаких советов, никаких, никаких мыслей, никаких конституций, никаких благодарностей или извинений, никаких книжных обзоров или отзывов, никаких отчетов о прочитанном, своих действиях и идеях.

Я не пишу историю времени, ни прошедшего, ни будущего, и даже историю этих призраков, которые со мной весь день и всю ночь, стоит только мне проснуться, как я застаю их за завтраком, и мне приходится спешить на прогулку, благо в Иудейских горах тропинки извилисты и много пещер, есть где спрятаться.

Но я не пишу.

Разговор

Я говорю сам с собой, то есть с призраками времени. Они подвижны – подлетают, улетают, и мне кажется, что это как-то сглаживает боль и тревогу.

Мне снова и снова приходится начинать свою мысль. Кто-то из духов возникает повторно, словно прислушиваясь к обрывку фразы, ожидая завершения – и это не сложно, потому что мысль теперь одна – я вижу конец эпохи.

Я вижу, что время кончилось. Что вокруг каждого теперь пустота, которая все никак не наполнится личным временем: породить время нельзя, эпоха – это тот природный запас, который мы используем – хочешь или не хочешь – даже в самых интимных делах. Например, в прикосновении.

Я уверен, что в прикосновении иногда может быть больше девятнадцатого века, чем во всех исторических штудиях. Всех этих сверкающих пустот так много в нынешнем безвременье.

Никогда серьезные вещи не объявляют о своем прибытии. Все самое важное всегда случилось помимо воли. Попасть в яблочко, попасть в молоко. Мне хватает чудес в Иудейских горах. Здесь время – библейские строки.

Иными словами, я вижу, что мир страстно желает пророка. Мир хочет поцеловать его в уста, запечатлеть сделку о начале нового времени.

Библейская страница превращает сейчас мир в то, что обычно видят только под микроскопом. Пристальность зашкаливает. На арену выходят вирусы, бактерии, серотонин, армия молекул, бозоны. Ждем, что и звезды нас не оставят.

Я давно говорю сам с собой, то есть с призраками космоса. Они приближаются, и мне кажется, что это как-то увеличивает теплоту. В такие времена тепло пытаешься обрести даже от звезд.

Мир похож на человека, который больше не будет печалиться. Он смотрит в лицо каждого. Вдруг вспыхивает сверхновая. И более не гаснет.

В дороге

В пустыне всегда ищешь то, что движется. И цепляешься взглядом – будь это хоть глаз ящерицы, выползшей на камень.

У меня было несколько жизней, все сбиваюсь в подсчете. Столько птиц надо мной пролетело, столько растаяло облаков.

Одна пустыня мне верна. Пустыня есть внутренний мир – казалось бы, она неподвижна. Но ночью в ней столько всего происходит!

Однажды я съел книгу и пошел через пустыню мимо пророков. Они кричали мне: «Остановись! Запей буквы медом!» Человек и пустыня – одна плоть, и поэтому я не остановился.

Только в пустыне можно узнать все величие тишины. Ведь в пустыне глоснешь от того, как бьется сердце. Писк раскаленных камней на закате. Оглушительный посвист упавшей звезды.

Мысли постепенно заполняют пустыню варварскими осколками. Тень от ящерицы соперничает с часовой стрелкой. Пересохшие губы нащупывают забытые слова.

О, парящие сипы, мудрецы пустыни! Белоголовые от зноя и остановленных мыслей. Вы всматриваетесь в пустыню, чтобы найти неподвижное в неподвижном. Я чувствую ваш взгляд: вы охотитесь за книгой.

Пустыня следует за мной неотступно. Я знал с детства, что кто-то присматривает за мной. Книги, сипы, ящерица. Но главное – камни. В них столько времени и хлеба молчания.

Ночью пустыню топчут духи. Представляете духа с головой в Кассиопее и пяткой на Земле? Мне тесно ночью с ними.

Когда я вижу звезды, летящие наискосок в пылающем горниле Млечного Пути, во мне поворачивается книга, со страниц сыплются буквы.

Звезды вблизи – самое страшное, что я видел. В каждой из них пылало твое лицо.

Небо течет. Сипы все кружат и кружат. Однажды они расклюют меня и прочитают. Жизнь длилась весь день. Садилось солнце. Ящерица сползла под камень. От стойбища бедуинов в ущелье донесся запах навоза. И звякнула муха.

Геодезия

Всю жизнь ты искал точки, в которых зрение становилось бы видением. Ты разнимал их, точно бретельки на ослепительной наготе, веря в то, что раздеваешь вечность. Ты стоял на утесе терпения, перебирая в горле по молекуле, добиваясь точности.

Затем стремился в город, похожий на летающий улей, особенно на закате. По нему ты скачивался в недра пустыни. Ты путешествовал над ней на аэростате, спускался в дичайшую впадину мира и ныне продолжаешь поиск глубин, поиск горы Искушения, вывернутой наизнанку, может быть места, где спрятал лампу Аладдин, где при обезвоживании слышатся пронзительные слова, ведь только слова дороже всех сокровищ: словами был создан мир.

И ты слышишь, что ты один. Ибо кто ты такой? Лишь путешественник в мир иной.

Этот город, будь он женщиной, назвался бы Марией. Он похож на разбитое вдребезги зеркало, в каждом его осколке встает свое солнце. В каждый осколок ты погляделся, как в оконце.

В этом городе не разобраться без теодолитов, секстантов, отвесов и телескопов, увеличивающих предметы, которые лучше бы позабыть. В нем все дороги ведут на край света, отрешенный от себя самого невесомым морем. В конце концов, этот город похож на книгу, которую читает спятивший археолог. Он бормочет: «Твоя нагота – почти кровь. Я сосчитал лепестки твоей розы».

Этот город, подобно батискафным глубинам, требует много света и его получает. Он глотает тебя целиком, как пружину алмазных полей, и разворачивает внутри сеть проулков, чтобы в горле выросли базилик и мята, чтобы твой зевок стал кустом розмарина, а сердце – обклеванной булкой, оставленной на приступке.

Твои мысли – каменным сором, окурками под ногами. Или спешащими вечно людьми в шапках всех сортов. Твои тайные голоса – воплями дроздов. Твой шаг обут теперь в одинаковые башмаки, в которых идут по делам и женщины, и мужчины. Облака здесь похожи на чепчики и тюрбаны или зимой на белые рубахи, на ветхую простынь.

Твои веки – жаберные жалюзи. Твои пальцы – ржавые держатели ставен. Твоя походка напоминает милоггу, которую танцуешь со слепой девушкой. Твой мозг похож на собрание писем, которые пишутся этим городом миру, позабывшему о нем тысячелетия назад.

Твой торс вливается в стволы эвкалиптов, кипарисов, волосы вспархивают воробьями. Твое лицо живет внутри камней, проступает на неряшливых стенах, внимая гудению горлиц, запаху олеандров, шалфея, цоканью цикад на горячих соснах, стрекоту саранчи в сожженной солнцем сияющей траве, аромату пыли и скользкой хвои.

Этот город давно существует лишь в воображении его жителей, стремившихся в него в поколениях, понемногу свыкшихся с его нестерпимым невидимым золотом, с его камнями, раскаленными добела Богом.

Запись

Плывет луна – немая песня, и гул идущего на посадку самолета захватывает по краю ее восхождение.

Письма, дневники помнят больше, чем человек, – так, по крайней мере, кажется, но это обман слабой избирательной памяти. Этот эффект вызван инстинктом самосохранения.

Искусство забывать не менее важно, чем искусство памяти, хотя бы потому, что невозможно запомнить хоть что-либо, стремясь запомнить все. Человек сам по себе где-то, в каком-то специальном пространстве отпечатывается шестью чувствами, своим состоянием мыслей, болью и наслаждением, все идет в учет, подобно тому как организмы звезд не способны существовать в отдельности от истории Вселенной.

Например, мироздание пронизано отпечатками, слепками собственной биографии в виде плотности реликтового излучения. Человеку Вселенная кажется слишком просторной, но не менее огромны бывают духовные миры – пространства организации чувств, намерений, поступков, сознания вообще, в той или иной степени укорененные в реальности мира действия.

Благодаря не одной только математике, мир воображения поразительно точно совпадает со Вселенной вообще, и это должно наводить нас на мысль, что как минимум воображаемое и сочиненное не слишком отличаются от претерпеваемого. Иными словами, ангелы обитают в обширнейшей, хотя и тонкой области пересечения, в области точного совпадения реальности и представления.

Вопрос о сознании – что делать с сознанием, когда научатся клонировать не только человека, но и мозг, – невозможно решить без понимания того, что личность обладает одним и только одним пространственно-временным стержнем боли и наслаждения, без допущения о том, что память надежно крепится к забвению, и что забвение – это тоже исток.

Моав

Вечер превращается в звездную воронку. Закатный телесный свет омывает предгорья Моава.

Я еду домой с горы на гору – к этому свету. Единственный способ перечеркнуть одиночество – почерк.

Голоса ночного ветра. Иногда я гложу от их завываний.

Я и двойник играем друг с другом в темноте, перебрасываясь письмами, приближаясь и удаляясь. Самые страшные часы рождают почерк.

А где же Бог? – спросишь ты. Он где-то здесь, в окрестностях двойника, чья возможность исчезнуть дает шанс присутствию.

Но где тогда всемогущество? Разве не мощь – признак Бога? Нет, бессилие и слабость – одиночество – Его атрибуты, ничуть не менее важные, чем сила. Сила, брат, не в бесконечности, не в мегатоннах. В почерке.

Ночью под стенами Моава я делюсь секретами. Гаснет свет долинный.

В моем образовании есть пробелы. Без них никак, потому что кое-что важное доступно только варварам. Например, восприятие пустыни. Ее одушевленность. Только чистый хрусталик способен увидеть, как слова мерцают в каменистых песках.

Дух почерка своенравен. Он приближается и удаляется, вдруг присаживается подле. И тогда двойник исчезает. Таково присутствие.

Я приду, когда тебе будет страшно, когда счастливые дни исчезнут. Ты будешь лежать один в темной комнате, озаренной теплым светом гор Моава, на которых когда-то человек Завета предпочел отправиться в бескрайность строк.

Я приду, когда почерк станет ясным, как клинопись. Ядро одиночества ослабнет, и ты согласишься в мои глаза.

В этом стихотворении оборвутся поводыя, и ты поменяешься ролями, перестанешь говорить от лица жертвы. Это – больше, чем идти на голос ветров.

Зачем целовать порог пустыни? Зачем тосковать и слепнуть при волнении? В пустыне звезды подобны пылающим кустам. Я смотрю сквозь звездную карту, различая себя, лишеного убежища.

Я – карта, обретаю дом только в небе. У нагих своя судьба. Я всегда ощущал себя мужчиной.

У веры нет противоположностей. Можно отрицать все на свете, но если оказался в небе – мир назван. Ясность была целью. Звезды, кипящие плотью. Я двигаюсь сквозь них. И вот я вижу.

Комната, вырезанная из лунного камня. Слегка пахнет порохом. Мембрана потолка подрагивает от метеоритов.

Голоса Моава – огненные ветры. Мне не надо быть зрячим, чтобы идти на их зов.

Лампочка

Больше всего из детства мне запомнилось искусство. Первые проблески вечности. У нас был книжный шкаф, ключ от которого мать прятала, но я знал где. Иллюстрации Григория Сороки, «Дон Кихот», Бунин, Цвейг, два тома «Малой истории искусств».

«Венера» Веласкеса была моим первым уроком выразительности.

За окном тянулись заводские цеха, километровые железнодорожные составы и сыпал снег на смерзшуюся грязь. Проносились электрички.

Мое детство было прекрасным, хотя и печальным.

Поначалу я каждое утро просыпался от счастья, что настал новый день.

Однако в Средней полосе не забалуешь. Вскоре я узнал, что такое сентябрь, поля, переделки, сельхозработы и школа, куда надо было собираться еще затемно.

С тех пор я люблю солнце, море, горы. Я климатический экспат. Мне все время не хватает света.

Темнота – это то, что неизбежно угрожает. Пространством или мыслью. Неизбежностью или прикосновением. Я помню, как мать, когда мучил кошмар, выносила меня на руках в кухню и включала свет. Как только лампочка нестерпимо освещала мое лицо, я тут же замолкал. Наверное, это стало рефлексом. Слава нити накаливания и электрификации.

О, Средняя полоса! Русским горизонтам я обучался на двухкилометровых грядках. Морковь, укроп, свекла, капуста, картофель. Сколько я наклонялся вам за юность. До сих пор не разогнуться. Вы уж не забудьте!

На грядках на нас пикировал кукурузник и распылял отраву типа как во Вьетнаме.

А кабачки?! Настоящие цепеллины.

Помню, как Ирка зачихалась от аллергии на желтую пыльцу.

Помню, как ломился лесом за солнцем, покинув самовольно лагерь «Энтузиаст».

Помню, как текло небо в берегах, когда навзничь опрокинулся в Оку.

Только на третий день понял, что давно заблудился.

Но с тех пор путешествие превратилось в странствие. С тех пор понятно, что люди похожи на цветы – тянутся вслед за солнцем. Случайности слагаются в судьбу, сплавляясь светом.

«Скажи мне, зима ли это?»

Werewolf

Однажды я болтался по Москве теплым июньским вечером.

Долго не смеркалось, ехать в Долгопрудный не хотелось, так что я повернулся и направился с автобусной остановки на Речной вокзал.

Пробежался по причалам и вспрыгнул на отходившую «ракету». Решил поехать в спортивный лагерь МФТИ, располагавшийся на Пестовском водохранилище.

«Ракета» была последней и причаливала не в Михалево, а к противоположному берегу. Там я сошел уже в сумерках и только тогда сообразил, что сегодня ночью мне предстоит приключения.

Стайка дачников потянулась к поселку и растворилась в нем.

Я направился вдоль берега, предполагая по лесу обойти озеро или найти каких-нибудь туристов с байдаркой, которые согласились бы в ночи переправить на тот берег.

Разумеется, никто бы не взялся грести через лунную бездну, но семь верст не крюк.

Туристов в лесу было полно. Бренчали гитары. Иногда случалось споткнуться о растяжку для палатки. Никто не хотел быть мне паромщиком.

Над озером взошла огромная луна. Казалось, она с меня ростом.

У одного из костров заговорили об оборотнях, появляющихся в полнолуние. Я вышел из тьмы, подошел к этой компании и попросился погреться у костра.

– А вот и наш оборотень! – воскликнула одна из девушек.

Меня расспросили, кто я, откуда, чего ради, и плеснули водки.

На рассвете я отправился к дебаркадеру.

Помню розовые сосны над обрывом, свисающую тарзанку и косые лучи солнца, льющиеся над берегом.

Пришла «ракета», снова задрожала палуба, в бурном кильватере повернулся и стал удаляться берег с дачными домиками, блеснувшими стеклами веранд.

Вскоре я оказался в лагере. Мишка Черниковский притащил мне миску гречневой каши из столовки.

Засыпая, я читал журнал «Искусство кино», статью Леонида Баткина, где он говорит, что пустая бутылка водки «Русская» из «Ностальгии» Тарковского – неудачный образ, потому что художественный образ не может быть однозначным.

Вот это я запомнил.

Бездомность и трепет

Море – учитель бескрайности. Море и есть потусторонний мир, и почему бы ангелам не скрываться именно в нем.

Поскольку истории об ихтиандрах, о стариках, пытающихся выловить левиафана, – прекрасны.

Тем более мы все вышли из околплодной пучины.

Так почему же не представить, что рай сокрыт именно там – где-то среди подводной Шамбалы, за каким-то укромным горным хребтом. Кто его знает, какая еще обитает там ноосфера. Дельфины, например, разговаривают образами.

Так что правомерен вопрос: «Достаточно ли мы умны, чтобы понимать живое?»

«Достаточно ли упорно я ищу свой дом?»

Ищу свой дом – наконец я понял, что делаю здесь долгие годы.

Но мой дом – это сложность и бугенвиллеи.

Мальчик гуляет с собакой, она тянет поводок. Дом с черепичной крышей меж холмов. Я вижу в его окнах дали, выси.

Дом – это я, мое отражение. Я люблю, когда мир виден в иллюминатор.

Мой мир когда-то взорвался, как космос.

Теперь снег идет и наполняет долину, наполняет дом светом снега. Вот любимый стол, вот стул, на них ложится снег, и вдох подирает холодком.

А когда-то – дело было в Бакуриани: сосны, ели, снега, так долго спускаться по склону Кохты, затянутой облаком. Ничего не видно, только высятся ели и растворяются вверху в молоке.

Вечером после ужина выйти, поскрипывает снег под подошвой, так слезятся звезды, и пар от слов. Разглядывать альпийские хижины, мечтать пожить в каждой, слышать дымок и хозяйских собак.

Как давно это было, столько жизней прошло с тех пор, из них можно составить историю.

Историю бездомности и трепета. Историю холмов и снежного света. Историю ангельских дельфинов, пронырывающих сквозь кристальную глубину, из которой я смотрю на тебя.

Книжная роза

У меня есть луна. Она всходит над моей головой почти каждый месяц, и я потихоньку могу на нее взобраться, чтобы разобрать надписи, оставленные моим народом на щитах заброшенных стадионов. Когда-то один из моих предков блистал на этих ристалищах, он был гладиатором. Артур бился с тираннозаврами, он мог тремя ударами снести башку вожаку.

На этой луне повсюду пахнет увядшими розами, этим невыносимо притягательным, как запах тления большой культуры. Это запах Гаваны, Кейптауна, Марсея, Александрии, Афин, Иерусалима, Буэнос-Айреса, Парижа, Рима: фимиам пергамента, папируса, бумаги, истлевающих в веках, аромат библиотечных эпох, так рьяно обещавших конец времен, создавших не одну цивилизацию, не одну империю.

О, это мои личные сокровища, к которым я только притрагиваюсь пальцами, чтобы почувствовать тепло лепестков, их телесную сонную тяжесть. Запах книжной розы сменяет аромат рома и сигары, свернутой между бедер красотки с помощью танца.

Таковы города на моей луне – полные моря, солнца и растительности, забравшей в полон штукатурку. Прелый воздух августа, и в стакане льдинка. А в море старик тащит свою рыбу. Но когда она всплывает на поверхность, от нее ничего не остается, ничего, кроме этих строк и взгляда на марину, где позвякивают такелажом брошенные лодки. Вот столик на корме, на нем пустые запыленные бутылки, осколки бокалов и голова Олоферна.

Все битвы миновали давно, остались лишь руины, лишь кладбища с захороненным мрамором, отсвечивающие в отраженном свете, так долго идущем от звезд, что многие успевают погаснуть. Эти строчки точно так же затихают, куда их смысл доходит до нас, если успевают.

Открытка

«Мрамор твоего рождения» – однажды ты написала мне на поздравительной открытке. Мы не виделись вечность, даже две или три, но кто забудет море и насыпных идолов подмытого берега, снулых осетров, выброшенных штормом.

В прибой мы уходили наперегонки, боролись с волнами, выплывали наконец на свал глубин и вот там как раз и резвились, каждой порой кожи вбирая солнце и соль, превращая тело в единую память, настолько же нетленную, насколько и – о, как ты верно нас выразила: мы суть мрамор нашего рождения – это то, что хранит нас от тьмы.

Я был – я видел море, которое мы переплыли. Наши следы на песке сделали его еще глубже.

А потом мы сидели под оливами на бульваре, пили чай с кусочками колотого сахара, прислушивались к пощелкиванию нардов. Что еще было нужно тем, кто только что видел подводное солнце, тем, кто вышел из морской пены и готов был кануть обратно.

Жизнь так скудна, что в лучшем случае от нее остаются одни слова, и хорошо если на поздравительной открытке.

Летели волны, вскарабкивалась луна над жизнью, мы прощались с каждой пылинкой, мы копили каждый осколок, каждый взгляд. Но было время и не было времени. Хрустели оконца льда на замерзших лужах. Дорога вела мимо жилья и пропадала за серебряным полем, в чернеющем лесу. Текла река, глубокая, как чернила, в ней хоронились рыбы-звезды, в омутах таились туманности, и созвездия медленно плыли над облаками.

Тем временем море гремело штормами, как и тысячи лет назад, страшно раскатывая валы из-за горизонта. Где-то скрывался в пучине пророк, в тайной точке вращения мира, в бездне, глубина которой сравнялась с лодочками наших следов, оставленных на песке.

Человек-облако

Ты жил в своей квартирке, как живут галактики во Вселенной. Рамы оконные были заполнены самоцветами. Вся отчизна помещалась между оконных стекол, создавая твою особенную оптику – линзу пристальности. Лабрадорит, сердолики, полевые шпаты, друзы, яшма, какие-то редчайшие минералы, место которым в музее. Ты собрал все пространство!

Большая кухня, в которой никогда ничего не менялось, ни один предмет обихода. Забитые до отказа антресоли, на которых ты иногда производил раскопки, например доставая бутылку крымского портвейна, схороненную еще во времена оттепели. «В моей жизни не выживают ни женщины, ни кошки».

В самом деле, с тобой всегда были только камни и музыка.

О, сколько ты рассказал мне о Крыме. О его мысах и бухтах, о его геологии и истории. До сих пор в моих снах пируют генуэзцы – братья Ди Гуаско и все еще десант сорок второго года штурмует Разбойничью бухту.

Твой дуб, под которым ты подвешивал гамак и выкапывал пещерку-холодильник. Источник, куда мы ходили за водой, прятался в чаще диких фисташек.

Ты знал все растения, что попадались под ноги, от неопалимой купины до эндемиков. Это удивляло в той же мере, в какой убеждало, что ты отчасти божество этих скал и склонов.

После шторма тебя можно было видеть бредущим по колено в прибое, как в облаках, цепким глазом выхватывая приношение моря, те самые камни, тепло которых потом согревало твой очаг посреди января, февраля. И уже в апреле ты отправлялся на поклон к Эчки-Дагу, чтобы поставить палатку, сшитую из парашюта, и подвесить гамак, сплетенный из обрывка сети.

Теперь ты сторожишь эту местность вечно. Дрейфуешь вдоль берега, гладишь утесы. Иногда просыпаешься дождем или снегом на склоны Восточного Крыма, чьи очертанья напоминают скульпторскую мастерскую – эоловая мускулатура громоздится и полыхает вдоль берегов, где когда-то шторма стачивали зубы о руины твоих мыслей.

Я теперь окончательно перебрался на Средиземноморье. И когда задумываюсь о рае, вспоминаю тебя, который первым обжил эту землю с застывшими облаками.

Аисты

Не было ни одного мирного дня. Все время летали истребители, бились чашки, военное железо, не зная устали, кроило пирог стратосферы и океанских пучин.

Не было ни единой минуты, чтобы никто не отверг оливковую ветку. Вечно лились слезы, скрежетали зубы, чавкала плоть, принимая сталь.

Но однажды мы путешествовали по Голанам и встали на ночевку в эвкалиптовой роще. В кронах деревьев черно-бело-алые аисты трещали клювами, укладываясь спать.

Мы развели огонь, устроили пикник под этот гомон и стук, который постепенно стих. Мы смотрели, как солнце садится сквозь листву. На нас нашло оцепенение.

Так что так мы и просидели до темноты под стаей огромных птиц, напоминавших иногда ангелов. Особенно когда они перелетали с ветки на ветку в лучах заходящего солнца, своим огромным подобием напоминая об иных мирах, где все не так, где, оказавшись внутри, забываешь обо всем, время исчезает, а воздух становится твердым.

Это был день первый. Все случилось именно тогда. Рухнули плотины, море пришло. Свет тускнел, птицы стихали.

Зачем-то я показал тебе ту фотку, где я ребенок. Открыл архив в телефоне и протянул.

На той фотографии я один, не считая моего дяди с той стороны объектива. Это тысяча девятьсот восьмидесятый год, войны все так же шли – на хоккейных полях, шли в космосе, шли в классных комнатах, начиняя нас временем-местом.

Сколько прошло с тех пор! Наступило море, залив мой пляж, мои скалы, на которых я вырос. Я и солнце.

Под эвкалиптами в сумерках всегда немного зябко – настолько их многочисленные листья работают лепестками охлаждающего радиатора. Выходила луна, огромная, как планета памяти.

Ты взяла меня за руку, и мы пошли.

С тех пор мне на этой фотке по-прежнему десять. Я стою на пляже Каспия, мои руки вдоль бедер, я в трусиках в полоску. Мои ступни погружены в песок. Я щурюсь от солнца, пытаюсь разглядеть нас с тобой, затянутых протуберанцем.

Разговор с Чико

У меня не было любимых сказок, кроме моря. В детстве я был совершенно счастлив, и мне незачем было бежать. Синие кони, красные всадники, гуашевые леса, акварель полевых цветов, погнутая рама на велосипеде, на котором пришлось везти мешок синеглазки. Глухие леса, дубовые рощи в виду заброшенных усадеб, насаждения реликтового дворянства.

Однажды я нашел в лесу чудо – поляну, на которой одновременно росло множество разных цветов. Вероятно, именно так выглядит рай ботаника. Я стоял, замороженный этим обилием. Гудели пчелы, шмели, трещали кузнечики, в поле среди пшеничного золота можно было набрать васильков, небесно-синих. Ближе к осени на полях появлялись стога, в которых мы прорывали ходы, где можно было спрятаться от дождя.

Мое детство – это книги и воздух лесов, реки и звезд. Наверное, так и полагается, если потом приходится много путешествовать и забывать, много видеть и не успевать запомнить, – страны, люди, моря, океаны.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.